

**В. ИВАНОВ**  
**МЫСЛИ О СИМВОЛИЗМЕ**

Средь гор глухих я встретил пастуха,  
Трубившего в альпийский длинный рог.  
Приятно песнь его лилась; но, зычный,  
Был лишь орудьем рог, дабы в горах  
Пленительное эхо пробуждать.  
И всякий раз, когда пережидал  
Его пастух, извлекши мало звуков,  
Оно носилось меж теснин таким  
Неизреченно сладостным созвучьем,  
Что мнилось: незримый духов хор  
На неземных орудьях, переводит  
Наречием небес язык земли.  
И думал я: «О гений! как сей рог,  
Петь песнь земли ты должен, чтоб в сердцах  
Будить иную песнь. Блажен, кто слышит».  
А из-за гор звучал ответный глас:  
«Природа-символ, как сей рог. Она  
Звучит для отзвука. И отзвук - бог!  
Блажен, кто слышит песнь, и слышит отзвук».

Если, поэт, я умею живописать словом (живописи подобна поэзия - «*Ut pictura poesis*», - говорила, за древним Симонидом, устами Горация, классическая поэтика), - живописать так, что воображение слушателя воспроизводит изображенное мною с отчетливою наглядностью виденного, и вещи, мною названные, представляются его душе осязательно-выпуклыми и жизненно-красочными, отененными или осиянными, движущимися или застылыми, сообразно природе их зрительного явления;

если, поэт, я умею петь с волшебной силой (ибо «мало того, чтобы стихи были прекрасными: пусть будут они еще и сладостны, и своенравно влекут душу слушателя, куда ни захотят», - «*non satis est pulchra esse poemata, dulcia sunt et quocumque volent animum auditoris agunt*», - так говорила об этом нежном насилии устами Горация классическая поэтика), - если я умею петь столь сладкогласно и властно, что обаянная звуками душа идет послушно вслед за моими флейтами, тоскует моими желаниями, печалится моею печалью, загорается моим восторгом, и согласным биением сердца отвечает слушатель всем содроганиям музыкальной волны, несущей певучую поэму;

если, поэт и мудрец, я владею познанием вещей и, услаждая сердце слушателя, наставляю его разум и воспитываю его волю;

но, если, увенчанный тройным венцом певучей власти, я, поэт, не умею, при всем

том тройном очаровании, заставить самую душу слушателя петь со мной другим, нежели я, голосом, не унисоном ее психологической поверхности, но контрапунктом ее сокровенной глубины, - петь о том, что глубже показанных мною глубин и выше разоблаченных мною высот, - если мой слушатель - только зеркало, только отзвук, только приемлющий, только вмещающий, - если луч моего слова не обрывает моего молчания с его молчанием радугой тайного завета:

тогда я не символический поэт...

Итак, я не символист, если не бужу неуловимым намеком или влиянием в сердце слушателя ощущений непередаваемых, похожих порой на изначальное воспоминание (и «долго на свете томилась она, желанием чудным полна», «и звуков небес заменить не могли ей скучные песни земли»), порой на далекое, смутное предчувствие, порой на трепет чьего-то знакомого и желанного приближения, - причем и это воспоминание, и это предчувствие или присутствие переживаются нами как непонятное расширение нашего личного состава и эмпирически-ограниченного самосознания.

Я не символист, если мои слова не вызывают в слушателе чувства связи между тем, что есть его «я» и тем, что он зовет те - я», - связи вещей, эмпирически разделенных; если мои слова не убеждают его непосредственно в существовании скрытой жизни там, где разум его не подозревал жизни; если мои слова не движут в нем энергии любви к тому, чего дотоле он не умел любить, потому что не знала его любовь, как много у нее обителей.

Я не символист, если слова мои равны себе, если они - не эхо иных звуков, о которых не знаешь, как о Духе, откуда они приходят и куда уходят, - и если они не будят эхо в лабиринтах душ.

Я не символист тогда - для моего слушателя. Ибо символизм означает отношение, и само по себе произведение символическое, как отделенный от субъекта объект, существовать не может.

Отвлеченно-эстетическая теория и формальная поэтика рассматривают художественное произведение в себе самом; постольку они не знают символизма. О символизме можно говорить, лишь изучая произведение в его отношении к субъекту воспринимающему и к субъекту творящему как к целостным личностям. Отсюда следствия:

- 1) Символизм лежит вне эстетических категорий.
- 2) Каждое художественное произведение подлежит оценке с точки зрения символизма.
- 3) Символизм связан с целостностью личности как самого художника, так и переживающего художественное откровение.

Очевидно, что символист-ремесленник немислим; немислим и символист-эстет.

Символизм имеет дело с человеком. Так восстанавливает он слово «поэт» в старом значении поэта как личности («poetae nascuntur»), в противоположность обиходному словоупотреблению наших дней, стремящемуся понизить ценность высокого имени до значения «признанного даровитым и искусным в своей технической области художника-стихотворца»...

Так как символизм означает отношение художественного объекта к двойному субъекту, творящему и воспринимающему, то от нашего восприятия существенно зависит, символическим ли является для нас данное произведение или нет. Мы можем, например, символически воспринимать слова Лермонтова: «Из-под таинственной, холодной полумаски звучал мне голос твой...» - хотя, по всей вероятности, для автора этих стихов приведенные слова были равны себе по логическому объему и содержанию, и он имел в виду лишь встречу на маскараде...

Символизм-магнетизм. Магнит притягивает только железо. Нормальное состояние молекул железа - намагниченность. И протяженное магнитом намагничивается..

Итак, нас, символистов, нет, - если нет слушателей-символистов. Ибо символизм - не творческое действие только, но и творческое взаимодействие, не только художественная объективация творческого субъекта, но и творческая субъективация художественного объекта.

«Символизм умер?» - спрашивают современники. - Конечно, умер! - отвечают иные. Им лучше знать, умер ли для них символизм. Мы же, умершие, свидетельствуем, шепча на ухо пирующим на наших поминках, что смерти нет.

Но если символизм не умер, то как он вырос! Не мощь его знаменосцев возросла и окрепла, - хочу я сказать, - но священная ветвь лавра в их руках, дар геликонских Муз, заповедавших Гесиоду вещать только правду, - их живое знамя.

Еще недавно за символизм принимали многие прием поэтической изобразительности, родственной импрессионизму, формально же могущий быть занесенным в отдел стилистики о тропах и фигурах. После определения метафоры (мне кажется, что я читаю какой-то вполне осуществимый, хотя и не осуществленный, модный учебник теории словесности), - под параграфом о метафоре воображается мне примечание для школьников: «Если метафора заключается не в одном определенном предложении, но развита в целое стихотворение, то такое стихотворение принято называть символическим».

Далеко ушли мы и от символизма поэтических ребусов, того литературного приема (опять-таки лишь приема), что состоял в искусстве вызвать ряд представлений, способных возбудить ассоциации, совокупность которых заставляет угадать и с особенною силою воспринять предмет или переживание, преднамеренно умолченные, не выраженные прямым обозначением, но долженствующие быть отгаданными. Этот род, излюбленный в эпоху после Бодлера французскими символистами (с которыми мы не имеем ни исторического, ни идеологического основания соединять свое дело), не принадлежит к кругу символизма, нами

очерченному. Не потому только, что это лишь - прием: причина лежит и глубже. Целью поэта делается в этом случае - придать лирической идее иллюзию большего объема, чтобы, мало-помалу суживая объем, сгустить и овеществить его содержание. Мы размечтались было о «dentelle», о «jeu supreme» и т.д., - а Малларме хочет только, чтобы наша мысль, описав широкие круги, опустилась как раз в намеченную им одну точку. Для нас символизм есть, напротив, энергия, высвобождающая из граней данного, придающая душе движение развертывающейся спирали.

Мы хотим, в противоположность тем, назвавшим себя «символистами», быть верными назначению искусства, которое представляет малое и творит его великим, а не наоборот. Ибо таково смирение искусства, любящего малое. Истинному символизму свойственнее изображать земное, нежели небесное: ему важна не сила звука, а мощь отзвука. *A realibus ad realiora. Per realia ad realiora.* Истинный символизм не отрывается от земли; он хочет сочетать корни и звезды и вырастает звездным цветком из близких, родимых корней. Он не подменяет вещей и, говоря о море, понимает земное море, и, говоря о высях снеговых («а который век белеет там. на высях снеговых, а заря и ныне сеет розы свежие на них», - Тютчев), - понимает вершины земных гор. К одному стремится он как искусство: к эластичности образа, к его внутренней жизнеспособности и экстенсивности в душе, куда он упадет, как семя, долженствующее возрасти и дать колос. Символизм в этом смысле есть утверждение экстенсивной энергии слова и художества. Эта экстенсивная энергия не ищет, но и не бежит пересечений с гетерономными искусству сферами, например, с системами религий. Символизм, каким мы его утверждаем, не боится вавилонского пленения в любой из этих сфер: он единственно осуществляет актуальную свободу искусства, он же единственно верит в его актуальное могущество.

Те, называвшие себя символистами, но не знавшие (как это знал некогда Гете, дальний отец нашего символизма), что символизм говорит о вселенском и соборном, те водили нас путями символов по светлым раздольям, чтобы вернуть в нашу темницу, в тесную келью малого я. Иллюзионисты, они не верили в божественный простор и знали только простор мечты и очарование сонной грезы, от которой мы пробуждались в тюрьме. Истинный символизм иную ставит себе цель: освобождение души (катарсис) как событие внутреннего опыта.

1912